

Смерть Алкивиада

Когда пришли его убивать, но не смели подойти даже к дому, где он спал, утомлённый жаркой нежностью Тимандры...

Большая круглая луна, плывущая в облаках, пятнала густую траву, похожую на шкуру диковинного зверя, а над ней тихо колыхались нежные белые цветы, истекающие сладкой тяжестью осязаемо-живого запаха. Небесный свод был обтянут тёплым бархатом ночи. Где-то совсем рядом мягко пела бегущая вода. Было слышно, как глубоко и печально дышит земля. Бесчисленные мириады невидимых цикад безумствовали, и от этого темнота напряжённо звенела, будто туго натянутая тетива или меч, чью разящую наготу обнимал чуткий ветер.

Они стояли, вжавшись в ночь, боясь к нему приблизиться. В свете луны, выскальзывающей из облаков быстрой белой рыбой, их лица казались грубыми масками, какие делают рабы для своих карнавалов, но, наконец, трусливо подбадривая друг друга, они начали метать в дом горящие копьё, пока одно или два не попали в крышу, и старый гнилой тростник зашипел.

Он открыл глаза в темноте, мгновенно вынырнув со дна прозрачного тёплого сна – как ещё маленьким мальчиком выныривал из глубины Эгейского моря, насквозь пронизанной солнечным светом, куда отчаянно погружался, пока от шума крови не темнело в глазах. Он хотел удивить своей храбростью маму, скучавшую в замке, среди увитых барбарисом и можжевельником скал, по которым бродили желтоглазые козы, а в низинах росли гранаты и хурма с небольшими твёрдыми плодами. Это было давно. Так давно... После гибели мужа Диномаха удалась на Херсонес Фракийский, принадлежащий её семье, а потом за ним приплыл его дядя Перикл.

Алкивиад разбудил Тимандру, которую вряд ли любил, как не любил ни одну из женщин, и велел ей немедленно бежать, спастись. Её лицо, ещё хранящее сладкую улыбку сна, исказилось от страха. Тимандра подхватила свои духи и украшения и, обнажённая, выскользнула в ночь. В это время дом загорелся.

Он собрал все покрывала, какие оказались под рукой, чтобы набросить их на огонь. Прежде чем они вспыхнули, Алкивиад проскочил сквозь пламя и, гневный, горящий, сжимающий меч, явился перед застывшими от ужаса убийцами, будто это сам Великий Эант Теламонид, его предок, сын аргонAUTA Теламона и нежной афинянки Эрибеи, могучий грозный герой, сражавшийся с царевичем Гектором, восстал из Аида.

От одного его вида, от взгляда, полыхавшего ярче пожара, низкие варвары, посланные, чтобы его убить, разбежались. Никто не осмелился вступить с ним в бой и даже не преградил ему путь. Выкрикивая трусливые проклятия, они жались друг к другу, как испуганные козы, и только издали метали в его сторону копьё и безостановочно спускали стрелы с тугой, звенящей тетивы.

Неродное, незнакомое небо, обнимающее вифинийскую деревушку Гриний, покачнулось, страшно приблизилось. Тьма, спустившаяся на землю, была осязаемо густой и вязкой. Отблески успокаивающегося пожара выхватывали из черноты то фрагмент травы, которую обесцветила ночь, то дерево, похожее на призрак, то часть словно ниоткуда возникшей стены. Таинственно звенели цикады – подчёркивая оглушительную тишину, которая сжималась вокруг. Мир был чёрно-белым, как птичье крыло, до боли отчётливым,

пронзительным... и нереальным, будто тело, лишённое своей души. Словно душа, оказавшаяся в чужом теле.

Вдруг все звуки исчезли... И Алкивиада точно обожгло горячее дыхание белых от солнца площадей лаконийской Спарты, и странный, светлый взгляд Лисандра, с презрительным восхищением ловящего каждое его слово.

Алкивиад оказался в Спарте по собственной воле, хотя не мог такое даже вообразить, когда вместе с Ламахом и старым, богатым, влиятельным Никием, своим давним соперником, отплыл во главе ста сорока триер, чтобы оказать сицилийской Эгесте помощь в войне, обещанную Афинами против коринфян. Пока он сражался, его завистники привели рабов и неграждан-метэков, и те поклялись, что Алкивиад с друзьями, упившись вина, осквернил священные гермы, украв знак мужественности Гермеса, от которого зависела плодovitость стад и людей. И, совершая ещё более тяжкое кощунство, превратил в непотребную комедию великие Элевсинские мистерии, изображая связь юношей, переодетых как Деметра и Персефона, с тем, что было украдено у бога.

Афиняне выслали за Алкивиадом корабль. Зная, что на родине ему вынесут смертный приговор, он тайно высадился на берег в Фуриях и укрылся в Аргосе, откуда вёл переговоры со спартамцами, требуя у них убежища в обмен на военные советы. Там, в Лакедемонe, между высоким Тайгетом и поросшим золотыми соснами Парноном, на западном берегу быстрого Эвротa, он провёл четыре белых от зноя года и впервые увидел Лисандра, ведущего свой род от Геракла.

Как Геракл был старше Эанта, так и Лисандр был старше Алкивиада. Но Геракл, завернув новорожденного сына прекрасной Эрибеи в свой плащ из шкуры немейского льва, даровал тому неуязвимость, и только сам герой в приступе иступлённого гнева смог нанести себе смертельную рану в подмышку. А Лисандр, хоть и не пропускал ничего из сказанного красноречивым Алкивиадом, однако в его светлых глазах всегда играла усмешка. И всё-таки они сблизились. Алкивиад, оказавшись на чужбине, поневоле искал друзей, а Лисандр жадно впитывал каждое его слово, словно то странное существо, живущее на дне моря.

Многие спартамцы стали восхищаться Алкивиадом, показавшим себя дальновидным, бесстрашным и мудрым. Он коротко остригся, купался в холодной воде, ел чёрную похлёбку с сухими ячменными лепешками и совсем не пил вина, чем пленил суровых жителей Лакедемона, бывших наивными, как дети. Отказ от привычек родных Афин дался ему без труда. Но когда Спарта погружалась в бархатную прохладу ночи, он вдыхал нежный аромат, исходящий от длинных тёплых волос черноглазой Тимеи, пахнущей речной водой, солнцем, ночными цветами. Её лицо и тело, нежно белеющие в темноте, робкая улыбка, стыдливое тепло делали его спокойным, сильным, каким он всегда становился во время близости с женщинами.

А сколько их было – танцовщиц, гетер, цариц, акробаток, матрон, рабынь, высокородных гордечек, служительниц храмов... Они все его любили – даже жёны и дочери варваров, которых он брал после боя. И хотя Темея назвала рождённого от него мальчика Леотихидом, но при рабынях и служанках, даже когда муж, лаконийский царь Агид, вернулся из Декелеи, она звала маленького сына Алкивиадом – такой сильной была её любовь.

Это Алкивиад уговорил спартамцев захватить крепость Декелею, находившуюся в Аттике, недалеко от Афин и афинского порта Пирея. Оттуда они начали новую войну,

Дикелейскую, которая закончилась сокрушительной победой Лакедемона. Алкивиад был человеком чести и, выполняя обещанное Агиду, дал спартанским военачальникам множество бесценных советов и сам сражался за бывших – и будущих – врагов. Вместе с лаконийским флотом он вышел в Эгейское море и склонил к мятежу всю Ионию от Фокеи до Милета, причинив своей родине, осудившей его на смерть и отнявшей его имущество, больше урона, чем любой, кто родился в Спарте.

Лакедемоняне носили его на руках, а их царица так была в него влюблена, что и не думала скрывать это от мужа, и оскорблённый Агид, ярость которого умело распалял Лисандр, подослал к Алкивиаду убийц. Ему снова пришлось бежать – на этот раз в обильную золотом Меонию ко двору богатого сатрапа Тиссаферна. Старый лис, денег которого домогались и Афины, и Спарта, а он принимал и тех, и с других, хоть и склонялся к союзу с Пелопоннесом, потому что видел в этом больше выгоды для себя и ненавидел афинян, был совершенно очарован Алкивиадом.

Он переименовал в его честь прекраснейший из своих садов, в чьей сладкой, дрожащей, причудливой тени Тиссаферн любил послушать Алкивиада, мужественная красота, красноречие, ум и храбрость которого находились в самом расцвете. Алкивиад, когда того хотел, умел внушать любовь не только женщинам. Он искушал своими речами, сияющими глазами, статью, как лучшая в искусстве обольщения гетера, и при этом походил на бога Ареса, отличавшегося вероломством и хитростью, привлекательностью и коварством, отчаянной жадной войны ради самой войны.

Тиссаферн называл Алкивиада другом и даже в угоду ему перестал давать спартанцам столько золота, как раньше, но, помня о смешном несчастье Агида, усилил охрану жён и дочерей. Он снарядил корабль, который отвёз афинянина на Самос, куда тот неудержимо стремился, чтобы снова служить своей родине. Афинский флот всё ещё был предан своему герою, всё ещё был в него влюблён, как могут быть влюблены только суровые, изрубленные в битвах мужчины, живущие одним ликующим пламенем боя, не знающие страха смерти, в того, кто горит таким же бесстрашно бушующим ликованием. Они выбрали новых стратегов и призвали Алкивиада ими командовать. Они предложили ему немедленно вести их на Афины, чтобы поквитаться с его врагами. Но на это просто не было времени – ведь спартанский флот мог стать непобедимым.

И восемнадцати триер хватило, чтобы, появившись у Абидоса, обратить лакедемонян, которые уже побеждали, в позорное бегство. Надеясь на дружбу и золото Тиссаферна, всего на одном корабле, взяв с собой подарки, он прибыл в Меонию, но сатрап, опасаясь, что вновь зажжётся от огня, полыхающего в сердце Алкивиада, от волшебства его сладких речей, посадил афинянина в тюрьму на берегу золотоносной реки Пактол, где стояла меонийская столица Сарды. Зять и царь Тиссаферна Артаксеркс Мнемон обещал свою помощь Спарте, и принять её врага, как друга, грозило владыке Меонии большими неприятностями, но, испытывая прежнюю нежность к Алкивиаду, он велел охранять его не слишком строго, и вскоре тот смог убежать.

Странно, что на обожжённой земле Вифании, под её качающимся, близким, страшным небом, умирающий Алкивиад вспомнил белое солнце Спарты и насмешливые глаза Лисандра, который называл себя его другом, как и Тиссаферн, как все они... Но в войне, которую ведут мужчины против всех других мужчин, друзей не бывает. Несколько счастливых, яростных, упоительных лет он вместе с Фрасибулом и Фераменом одерживали только победы, сломив прибывающую, как тёмная вода, силу Спарты, вернув Афинам славу грозной морской державы.

Сорок триер – и Кизика пала. И Хрисополь, собирающий дань с кораблей, идущих из Понта Аксинского в море несчастного Эгея, бывшего когда-то афинским царём, покорился. Халкедон, Селимбрия, Византий... Никто не смог устоять перед Алкивиадом. Во главе победоносного флота он высадился в Перее, и Афины, легкомысленные, вероломные, любимые, обожающие героев, ликовали, его встречая, а он почувствовал внезапный, необъяснимый страх, который не испытывал никогда, и только, увидев среди толпы, славящей Алкивиада, своего двоюродного брата Эвриптолема, сошёл на берег.

Разве он не ублажал этот город – прекрасный, жадный, как гетера? Он устроил для афинян Элевстинские мистерии, снабдив священную процессию сильной вооружённой охраной, и спартанцы не посмели на неё напасть. Он нанёс поражение восставшему Андросу. Ради родины он был жесток, изворотлив, и, чтобы достать денег для войны и для флота, нещадно обирал чужие города, топя сопротивляющихся в крови... А Афины требовали всё больше и больше, и всё чаще на афинских площадях раздавались крикливые, недовольные речи клеветующих на Алкивиада.

И что же? Когда он отлучился в Карию, чтобы взять там золота для выплаты воинам, и приказал своему помощнику Антиоху ни за что не вступать со спартанцами в бой, а молодой глупец ослушался и был разбит Лисандром у мыса Нотия, потерял пятнадцать кораблей и сам погиб, первым, кто поспешил в Афины с этим известием, стал Фрасибул, так охотно, жадно деливший его победы. Он заявил, что в то время, когда гибли афинские корабли, Алкивиад развлекался с гетерами Ионии, и афиняне ему поверили.

Напрасно Алкивиад вызывал Лисандра на бой – тогда, в изнывающей от зноя Спарте, тот слишком внимательно его слушал, чтобы надеяться на победу, оказавшись с ним лицом к лицу. Лисандр, добившийся места наварха, во всём превзошёл Алкивиада. Он довёл коварство до бессовестности, не гнушаясь раздавать клятвы, которые и не думал выполнять, и меняя львиную шкуру на лисью с ловкостью уличного фокусника. Он сумел восстановить мощь спартанского флота, обескровленного Алкивиадом, на деньги царевича Кира, бывшего младшим братом Артаксеркса, и так подчинил его своему влиянию, что он пообещал расплавить трон, если золота будет не хватать.

Находясь в изгнании, на заросшем можжевельником и барбарисом Херсонесе Фракийском, по которому бродили дикие козы, в замке матери, стоявшем на высокой скале, Алкивиад кипел яростью, рвался сражаться, но Афины от него опять отвернулись. А Эгейское море, ласковое, прозрачное, синее-синее, никогда его не предававшее, ещё с детства, безмятежно плескалось в бесчисленных бухтах и бухточках, и над ним нежно сияло нереальное, многослойное, родное небо, и каждый слой был точно движим собственным ветром.

Совсем скоро его приближения перестали бояться даже козы – только поднимали от бесплодной земли свои странные жёлтые глаза и тут же вновь погружались в задумчивое пережёвывание сухой травы, пробивавшейся сквозь горячие от солнца камни. Цепляясь за колючий тёмно-зелёный можжевельник, он забирался на скалы, чтобы взглянуть вниз, на далёкое синее море, а потом спускался узкими козьими тропами на усыпанный галькой и ракушками берег.

Поднимаясь, море шумело, шипело, клокотало, било наотмашь, вставало, как животное на задние лапы, и крутилось, точно пытаясь укусить себя за хвост. Волны то полностью накрывали берег, то выносили на сушу большие тяжёлые камни, будто это были обыкновенные ракушки, то тут же рассыпались искрящейся ласковой пеной. Горизонта не было – море и небо там казались совершенно одинаковыми. Садилось солнце.

Над морем, всегда с севера на юг, выстраиваясь диковинными изломанными фигурами, неслись чёрные и белые птицы – они будто торжественно прощались с солнцем, может, и не понимая, что завтра оно снова взойдёт... и снова закатится. А когда небеса над невидимым горизонтом уже полыхали и плавись, точно алые и золотые саламандры, танцующие в оранжевом огне, из гладкого закатного моря совсем близко к берегу приплывали беззаботные дельфины, и, с шумным плеском догоняя друг друга, то погружались под потемневшие волны, то снова выныривали к пламенеющим небесам.

Он сидел на ещё не остывших камнях и смотрел в ярко-голубое небо – нет, это оно смотрело на него огромным темнеющим глазом, снизу которого поднимались гигантские солёные слёзы морской воды. Будто кто-то, кто его бесконечно любит, тихо плакал – об этом мире... и о нём. Все звуки земли – шум волн, невидимых после заката, и горькие птичьи крики – сливались в оглушительную тишину. Как эти птицы, уже устраивающиеся на ночь в зарослях, покрывающих прибрежные скалы, и игривые, заснувшие рядом с теплом своих матерей козлята, и море, и небо, и ракушки, в эти мгновения он ощущал страшное одиночество. Точно его покинули. Точно он навсегда останется здесь – без надежды, беспомощный, каким не был даже маленьким мальчиком.

Как-то раз, пытаясь спастись от полуденного зноя, казавшегося густым и вязким, точно мёд, он набрёл на маленькую гранатовую рощу. Она росла прямо на потрескавшихся камнях. Среди высохшей травы и упавших розовых плодов, гниющих на земле, истекая сладковатым ароматом, он нашёл статую девушки с львиными лапами, длинным козьим телом и свёрнутым кольцами змеиным хвостом, совершенно не тронутую временем, чистую и будто сияющую. Она, Химера, со спокойной скорбью взидала вокруг, словно ещё помня запах крови приносимых ей жертв, словно надеясь, что можно всё вернуть.

Набрав наёмников и завязав дружбу с фракийскими царями Севтом и Медоком, Алкивиад участвовал в их военных походах, а когда афиняне приблизились к Херсонесу, он один, верхом, отправился к Тидею, Менандру и Адиманту, возглавлявшим афинский флот, предлагая им увести корабли в Сест, чтобы не оставаться в уязвимом, неудачном месте. Но они его, не выслушав, прогнали... И Лисандр снова победил.

На Херсонесе Фракийском, в устье маленькой прозрачной речушки Эгоспотамос, впадающей в синее море Эгея, когда войско Афин рассеялось по окрестностям, оставив свои триеры беззащитными, Лисандр немедленно к ним приблизился, взяв афинский флот даже без боя. Крик отчаяния пронёсся по прекрасному городу, куда прибыл корабль с этим горьким известием. А Алкивиад, поднявшись к гранатовой роще у храма Химеры, внушившей ему напрасные надежды, разбил её статую.

Спустя год Афины, изнурённые осадой и голодом, пали, стены Перейской гавани были скрыты под звуки кимвалов, кроталов и авлосов, Лакедемон стал править морями и землями золотой Эллады, и Лисандра, казнившего тысячи афинян, но не посмевшего сделать граждан города рабами, потому что против этого были сами спартанцы, почитали как бога. Он поставил во главе нового афинского правительства – тридцати тиранов – предателя Ферамена, который склонился перед ним, когда Афины ещё боролись, и недалёкого честолюбивого Крития. Народ их возненавидел, но не смел открыто роптать, страхась стоящего в Акрополе спартанского гармоста.

Покидая замок Визант, ставший небезопасным, Алкивиад в последний раз вышел на каменистый берег, обрывавшийся вниз сразу и глубоко, а в пронизанной солнечным светом глубине тихо скользили пятнистые скаты, словно танцуя над статуей Химеры,

которую он, в отчаянии и гневe, разбил и бросил на морское дно. Её лицо осталось не изуродованным, прекрасным. Искушение было таким сильным, что он с разбегу кинулся в море, чтобы поднять её, спасти. А, вынырнув, так и не достигнув своей драгоценной добычи, прислонился к истекающей смолистым мёдом сосне и поднял лицо в небо, вдруг ощущая каждый запах, цвет, звук, вкус, каждое движение, каждое прикосновение этого дивного мира, и всё это вместе с ним сливалось в одну круговерть, заполняло всю Вселенную, так что даже переливалось за край, и внезапно неподвижно застыло точно разноцветной мшистой скалой, будто на границе пугающего Аида, где не бывает времени.

Но это время было, и оно принадлежало ему! Алкивиад это понял, когда, оболганный завистниками, преданный друзьями, обманутый врагами и, в конце концов, побеждённый светлоглазым насмешливым Лисандром, по чьему наущению сатрап Геллеспонтской Фригии Фарнабаз, давший ему убежище в Гринии и даже пообещавший помочь с отправкой в Сузы к Артаксерксу Мнемону, приказал его убить. Оно, время Алкивиада, дробилось на миллионы крошечных отражений, в которых скользил орёл, свисала капля солнца с промокнувшей от шторма хвои, сотрясались от грома небеса, вертелись волчком впадающие в море реки, появлялись и исчезали звёзды.

Когда Алкивиад умер, а варвары удалились, тихо плачущая Тимандра, которую он никогда не любил, подняла его тело с земли и, нежно, точно ребёнка, закутав в свои лучшие хитоны, похоронила.

Лисандр погиб спустя четырнадцать лет, на стенах стовратных Фив, где оказался по воле спартанцев, поддерживающих фокейцев против фиванцев, во время жаркого боя, обречённого на неудачу, куда Павсаний, друг, так безнадежно опоздал со своим войском. Известие об этом обрадовало и Фарнабаза, ненавидевшего Лисандра за жестокость, и завидовавшего ему Агесилая, которого Лисандр сам сделал царём, убедив Лакедемон в незаконнорожденности сына Тимеи.

Всё это давно забыто, схоронено в сияющей глубине Эгейского моря, хранящего обломки триер и чудные звонкие амфоры, из которых афиняне пили вино, и статую прекрасной Химеры, которую две тысячи четыреста двадцать лет назад в исступлении разбил Алкивиад. Но если выйти на берег, оно, как и прежде, глубокое, спокойное, качает и несёт куда-то вверх, где вместо неба, хотя не видно ни облачка, парит нежный мерцающий туман, от которого всё точно выцветает вокруг – волны, скалы, козы.

А я лежу на горячей от солнца гальке и, ни о чём не думая, смотрю, как всё вокруг становится белым. Вода у берега горячая, прозрачная, где-то до щиколотки. Сквозь неё просвечивают пальцы ног, разноцветные камни, морские ежи. В пугающей близости от пенящихся ярко-голубых волн, но каждый раз успевая взлететь выше, куда-то в невообразимую, непонятную даль самоотверженно летит... бабочка. Чайки подныривают вниз и снова взмывают – с полным клювом отчаянно вырывающегося серебра.

Время как светлый песок, как тёплая галька. Кажется, что оно выскальзывает из пальцев. Но сколько песчинок на дне морей и солнечных камешков на их берегах – разве сосчитаешь. Время превращается в тайну, и эта тайна – бессмертие героев, которых примиряет отвага.